

Сталин. Вопросы, о которых мы говорили, принадлежат к числу важнейших государственных дел. Я прошу Вас и впредь обращаться ко мне и буду рад Вас видеть.

П. А. ПАВЛЕНКО

Счастье

<Два фрагмента из романа>

1. «ОН ГОВОРИЛ О СТАЛИНЕ, О РОССИИ И О СЛАВЯНАХ»

Однажды Воропаев порылся в своей полевой сумке и желто-зелеными дрожащими руками развернул записи к теме «Нравственный элемент на войне» — работе, которой он когда-то придавал серьезное значение.

Размышления в первые дни войны до странности приближались к тем, что тревожили его ныне.

«Строго говоря, — писал он под Ельней летом 1941 года, — не существует страданий физических. В страдании всегда заключается элемент сознания, и поэтому чем выше и организованнее сознание, тем устранимее боль».

Осенью же 1941 года, в Новгороде, сказал Воропаеву, тогда батальонному комиссару, тяжело раненный инженер:

— Запомните на всякий случай, товарищ комиссар, превосходную заповедь Сенеки: «Человек несчастен постольку, поскольку он сам в этом убежден».

Воропаев тогда спросил:

— Значит, по-вашему, и храбрость — постольку-поскольку?

— Конечно, — ответил инженер. — Нет ни готовых трусов, ни готовых героев. Каждый становится тем, чем ему легче стать.

Зимой того же 1941 года Лев Михайлович Доватор, беседуя с Воропаевым, сказал примерно то же самое:

— Трусость лечится просто: нужно уверить труса, что он человек храбрый. Как уверили — спокойно ему доверяйте. Храбрость — это до конца осознанная ответственность.

Спустя год, в подземном керченском госпитале, только что раненный осколком бомбы хирург Лункевич говорил раненому Воропаеву, приготовленному для операции по поводу сложного ранения в грудь:

— Слушайте, комиссар: боль легко перенести, если не увеличивать ее мыслью о ней. Ободряйте себя, говорите: это ничего, это сейчас пройдет! Вы увидите, как боль отхлынет. Понятно?

— Понятно, доктор, — ответил тогда Воропаев, — я и не жалею, я только боюсь, что именно вы меня будете оперировать, — вы слабы сейчас, у вас может не хватить сил.

Врач ответил:

— Но я же не боюсь за вас, а между тем — вы очень тяжело ранены. Я же не боюсь, что у вас не хватит сил и вы умрете на столе. Я знаю, что вы справитесь. И я тоже справлюсь. Мы оба справимся.

Была и такая запись: «Говорят, Лагранж наблюдал, что у победителей раны заживают быстрее».

Да что там Лагранж! Его собственные переживания могли служить доказательством того же. Воропаев вступил в Бухарест с еще не зажившей кишиневской раной.

Даже сейчас, когда он вспоминал об этом, тело его покрывалось нервными пупырышками, кровь начинала стучать в висках и он чувствовал, как прибывают в нем соки жизни.

Как же это было давно, давно, почти в юности, а между тем с тех пор прошло очень мало времени.

Он был тогда еще существом двуногим, деятельным, веселым.

День был ярок и, пожалуй, немного ветрен, — здорово пылило. Он влетел в город на танке с разведчиками, и потом остался один. Лицо его, пятнистое от бесчисленных поцелуев румынок, должно быть было очень смешно и несолидно. Собственно говоря, ему следовало лежать в госпитале, но разве улежишь в день вступления в ослепительно-белый, кипящий возбуждением город? Он не присаживался до поздней ночи, а все бродил по улицам, вступая в беседу, объясняя или просто без слов с кем-то обнимаясь; и его кишиневская рана затягивалась, точно уврачеванная волшебным зельем. А следующая, случайно полученная после Бухареста, хоть и была легче предыдущей, но заживала необъяснимо долго, почти до самой Софии.

Но когда он, опираясь на палку, вышел из штабного автобуса на площадь в центре болгарской столицы и, не ожидая, пока его обнимут, сам стал обнимать и целовать всех, кто попадал в его объятия, что-то защемило в ране, и она замерла. Он тогда

едва держался на ногах, голова кружилась, и холодели пальцы рук, до того утомился он в течение дня, ибо говорил часами на площадях, в казармах и даже с амвона церкви, куда был внесен на руках. Стоя рядом со священником, он говорил о Сталине, о России и о славянах, будто ему было не меньше тысячи лет и он сам не раз прибывал свой щит к воротам Царьграда.

И с каждым новым криком: «Живио!» — рана как бы заживлялась. Спустя три дня от нее остался лишь неширокий рубец. Да, такие дни случаются, может быть, раз или два в столетие, им дано исцелять, эти дни чудотворны; и счастлив тот, кого судьба наградила такими днями...

Такое счастье не повторится, и в его маленькой жизни, казалось ему, уже никогда не будет великих событий. Но они были! И нужно умело распорядиться ими, ибо не может же человек унести с собой в могилу столько необыкновенного и прекрасного, не передав его на радость остающимся жить.

2. «ТОВАРИЦ СТАЛИН, БЕЗ ВАС ТУТ СПРАВИМСЯ...»

Воропаев удержал его. Терентий Городцов — как представлялось ему — был как раз из тех чудаков-домостроителей, что и он сам, и в Городцове, как на фотоснимке, сделанном без предупреждения, видел Воропаев самого себя.

— От трех командующих фронтами словесное поучение довелось иметь, это — кому ни скажи, загордится! — с уважением к своему везению говорил Городцов. — От Западного фронта раз влетело до такой степени! — он покрутил головой, будто хватил горчицы. — Такой витамин принял, лучше не надо!.. А Сталинградский — ей-богу, не поверите — даже стихом огрел. Н-ну!.. Как жахнет в четыре строчки — глаза на лоб! Здорово словом владел. У Четвертого Украинского совсем другой подход был: частит, а у самого в глазах жалость, будто ты его, а не он тебя в мать сыру землю адресует. С жалостью как-то он ругал, ужасно расстраивался. А ты стоишь, как бандит, и слеза тебя душит. Прямо-таки душу рвал. А слышал я, что тяжелей всех это Рокоссовский. Чтобы ругать, говорят, — ни-ни, только в смех как возьмет — выверту нет. Остричь большой мастер: с улыбочкой эдак все, безболезненно, а состриг — все кишки перекрутит.

И, наклонившись к самому лицу Воропаева, таинственным шопотом, точно их мог подслушать дрозд, прижившийся во дворе, поведал самое святое из всех переживаний:

— Товарища Сталина два раза видывал. Первый раз под Москвой, как немцев стукнули. Вроде это как под Клином было. Приехал, слышим. Я в ту пору на вывозке битых немцев состоял. Знаем доподлинно — прибыл, наше солдатское радио верный слух дало, а где будет — никак не дознаемся. Я, конечно, и в мыслях не имел, что увижу. И вот, слушайте, как получилось.

Ночь, помню, стояла, и луна — каждый куст видать на двести метров. Мы, значит, немцев убираем. Аж звенят, как горшки глиняные, того и гляди разломаются на куски. Грузим. И вот видно нам — машины идут по шоссе, штуки четыре-пять. Останавливаются. Выходит одно начальство, выходит другое, к нам ни полслова, вроде как дают знак, — вы, мол, занимайтесь своим делом, а мы своим будем заниматься. И вот вижу — идет один встречь нам. В шинели, а звания не вижу, но идет просто, смело. «Здравствуйте, говорит, товарищи!» Конечно, ответили как положено. «Что, говорит, неинтересная работа немцев хоронить?» А был у нас в команде один приписник, чорт его знает из каких он, злой такой на язык. Он возьми да и скажи: «Отчего неинтересная? Лучше мы их будем хоронить, чем они нас». Так прямо и брякнул. Подошедший к нему сразу видит, что разговорчивый. «А как, говорит, ваше мнение: все сделала наша армия в данном случае, что могла?» А наш приписник ему в ответ: «Как же не все, говорит, сделала? И больше сделала, чем могла». Тут как-то свет упал на подошедшего, и мы все сразу узнали: Сталин!

Приписник обомлел. А тут товарищ Сталин покачал головой, вроде как не согласился с теми словами. «Нет, говорит, неправильно думать, что мы сделали больше, чем могли. Скажем скромнее: все сделали, что было в силах. Это поймет народ?»

Тут я осмелел, — и откуда речь взялась, это ж прямо чудо какое! Говорю: «Товарищ Сталин, народ поймет. Поймет, говорю, будьте уверены». И дальше не могу слова сказать, — горло сдавило, как кто рукой схватил.

А он тогда кивнул головой и маленько вдаль прошел. Потом остановился, ушанку свою снял и долго так стоял один. А когда назад к машинам возвращался, опять одного нашего спросил: «Довольны, что немцев побили?»

А тот — не знаю, узбек, что ли, был или азербайджанец, такой характерный капризный солдатишко, все, знаете, не по ём, — тут возьми да вроде нашего приписника и ответь: «Недоволен!»

Тут, брат ты мой, все генералы сразу к нему гурьбой. Как так? Почему? А тот свое — недоволен и недоволен. «Я, говорит, свою особую клятву давал на крови товарища, чтобы в плен не брать. При людях клялся, при земляках, дескать, обязуюсь не брать живых, насмерть их буду бить. А тут, говорит, пожалуйста, приказ пришел — обязательно брать. Расхождение у меня с приказом получилось, и через то расхождение, представьте, говорит, себе, я ордена был лишен: клятву выполнил, а приказ нарушил». Товарищ Сталин тут засмеялся, сказал:

«Я, говорит, за вас походатайствую, чтобы считался этот случай вроде как исключение».

Городцов умолк и, улыбаясь своей щурявой улыбкой, долго не возобновлял рассказа, погрузившись в воспоминания.

— А второй раз, где я его видел — не угадаете. В Сталинграде.

— Не было его там.

— Это вам так известно, что не было, а нам, товарищ полковник, другое известно — что был. От солдата секретов нет. Того, бывает, и большой начальник слухом не слышал, что наш брат, рядовой, знает. Не переспоривайте — был! Вот этими глазами видел. Может, конечно, он, как бы сказать, под другим наименованием или как там — не знаю, тем уж мы, солдаты, не интересовались. Но безусловно — был. Да вы сами скажите, без него разве б такое дело подняли? Да разве б выдержали? Ни в кои веки! Я у Родимцева был, в Тринадцатой гвардейской, — по-над берегом, близко к центру стояли мы. Только одно звание, что «зона» или там «часть города», а просто сказать — поясок земли. И вот был я раз связным на КП батальона. Немцы в пятидесяти шагах. Ночь. Чуть так подзоревать стало. Гляжу — идут со стороны полка. Втроем. Ну, спросил пропуск как положено. Вгляделся — он! А ночь хоть и смутная была, но нельзя также сказать, чтобы совсем темная, — немцам видать его. Прошел он маленько вперед и остановился у пулемета. Стоит и на город глядит, и руку к глазам приставил. Ахнул я, а мой напарник шепчет: «Что ж это наши его одного оставили? Убьют же сей момент!» Я сам дрожу, как утопленник, а сказать ничего не имею права. Дрожу и крикнуть мне охота: «Уходите, мол, товарищ

Сталин, без вас тут справимся, я же не лезу командовать, и вы в наше солдатское дело не встревайтесь...» Тут немцы, видно, его все-таки приметили и давай чесать по бугорку изо всех возможностей. А он стоит. Ну, я ж понимаю, тут зевать не приходится. У солдата свой термометр. Я сроду не справлялся, есть там какой приказ из дивизии, нет его, — а уж всегда знал — будет атака или не будет. Толковый командир, тот понимает, что солдата не перегонишь. Я на ноги и бросок вперед. Ура! Ребята как будто меня только и ждали, — подхватили «ура» и за мной. Смотрю, и соседи за нами, а за ними еще — и тоже вперед, — пошло дело! Бегу и нет-нет да оглянусь. Различаю его фигуру. А как мы немца в штосс взяли, как задрожала земля сталинградская, он ушанку снял, махнул ею нам и тихонько пошел вниз, к берегу. Ну, тут мы, солдаты, и договорились, чтобы не сходить с места. Если уж он сам рискует, так это, знаете... С того и пошло! Уверяю! Своими глазами пережил. Да и не я один, многие видели.

— Верю, — сказал Воропаев. — Верю и завидую.

На всех фронтах среди солдат ходили легенды о приезде Сталина, и чем труднее был участок фронта, тем непоколебимее верили люди в его присутствие.

И. В. СТАЛИН

Речи на обеде в честь Э. Бенеша

<28 марта 1945 г.>

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. И. В. СТАЛИНА

Тов. Сталин сказал, что он слышал много славословий по адресу Красной Армии. Конечно, можно признать, не хвастаясь, что это действительно доблестная, храбрая и славная армия, но она имеет еще много недостатков. Это армия большая, она ведет большую войну. Вместе с людьми, обслуживающими ее непосредственные тылы, она насчитывает приблизительно 12 миллионов человек. Эти 12 миллионов человек — разные люди. Не следует думать, что все они ангелы.

Красная Армия вступила в Чехословакию, и теперь чехословаки лучше узнают ее, узнают и ее недостатки. Красная Армия идет